

Григорий Померанц Портрет на фоне времени

«Парадокс недавней истории – сколько их, этих парадоксов, и какое массивное присутствие абсурда, – парадокс в том, что страна, достигшая небывалой мощи, сумевшая в результате победоносной войны распространить свое влияние на страны и территории, завладеть которыми прежде и не мечтали, ставшая второй великой державой, – в действительности, как мы теперь видим, понесла самое тяжелое поражение, может быть, за тысячу лет своего существования. Но проиграть войну было бы еще ужасней». (Б.Хазанов. Из письма с автокомментарием к роману «Победителей не судят», 12.08.02.)

Мы обсуждали фильм «Сорок первый». Двое людей остались на необитаемом острове, девушка, конвоировавшая пленного офицера, и он, этот белый офицер. Их потянуло друг к другу. Позабылась вся ненависть белых и красных... И вдруг к острову подплывает лодка. Из лодки вылезают люди в погонах. Офицер побежал к своим. Тогда девушка выстрелила...

Володя Муравьев сказал: «Я был бы белым!» Ира решительно ответила: «А я красной!» Когда это было? Не позже 1959 года (в октябре Ира умерла). Допустим, в 1958-м. А в 1953-м Володя (ему было тогда 14 лет) мучился: не обязан ли он, как Павлик Морозов, донести на свою мать.

Бабушка, Людмила Степановна, до революции голосовала за кадетов. Но она считала нужным жить в мире с правопорядком и в этом духе воспитывала своего внука, пока Ира жила и работала на Алтае. Целых три года. А до этого Володя был мал и с ним не разговаривали о политике. И вдруг...

Расставание Иры с детьми было вынужденным. После процесса космополитов в Петрозаводске она попыталась скрыть свою связь с врагом народа и уехала подальше, в Абакан, надеясь, что туда, за несколько тысяч километров, слухи об аресте мужа не дойдут. Ире не хотелось бросать

свою профессию. Она была блестящим лектором и с увлечением читала западную литературу «от Гомера до Фарера». Примерно в эти же годы Леонид Ефимович Пинский, предвидя арест, договорился с женой, Евгенией Михайловной Лысенко, что она с ним формально разведется и сохранит возможность зарабатывать на себя и их дочку Леночку. А потом, если он выживет, – поженятся снова. У Иры с Елизаром Моисеевичем Мелетинским такой договоренности не было. И была у Иры система зарок, заменявшая ей мораль, – да еще страстная жалость к другу, попавшему в беду, какие бы с ним ни были счеты. Супружескую верность она не чтит, но невыносимо было доставить радость гебешникам, совершив символический акт отречения. В этом отношении она была стойкой, как ранние христиане перед статуей божественного императора.

Ира очень любила ирландский эпос, ставила выше греческого и может быть именно из-за одной черты: напряженной нестандартности этики, индивидуального характера зарок, которые каждый богатырь сам себе давал. Своим зарокам она следовала, совершенно не считаясь ни с заповедями Ветхого и Нового завета, ни с советской моралью.

Когда арестовали старшего брата, Владимира Игнатьевича, ей было 17 лет. Смоленское НКВД арестовывало по списку, без ордеров. Жена Македонова ухитрилась тогда посмотреть, кто следующий. Муравьева некогда была предупредить; дальше стояла фамилия Твардовского. До него добежала – и будущий советский классик, минуя вокзал, на попутках добрался до Москвы. Здесь Сурков (или кто-то другой) не дал санкции на арест автора «Страны Муравии». Твардовский продолжал учиться в ИФЛИ, только время от времени запивал, вспоминая отца, мать и брата, от которых отрекся, когда их раскулачили. Потом он написал прекрасные стихи «Памяти матери».

Ира в 1937 году брала уроки английского языка у Македоновой Екатерины Николаевны (таким, кажется, было ее имя и отчество). Бывшая эсерка, она в 20-е годы признала советскую власть, но в 30-е взяла свое

признание обратно и передала Ире не столько свое знание неправильных английских глаголов, сколько свое неправильное, несоветское отношение к жизни. Володя, услышав об этом от меня, сказал: «Вот почему мама знала английский язык хуже, чем французский и немецкий».

Некоторые поступки, считавшиеся общепринятыми, были для Иры невозможны. Она ухитрилась поступить в университет и в аспирантуру, не вступая в комсомол. Отговаривалась заботами материнства, мешавшими участвовать в общественной жизни (Володя родился в 1939, Лёдик в 1941-м), иногда просто тянула, пока от нее не отвязывались. То, что она говорила в комнате для свиданий, иногда даже превосходило своей резкостью то, что говорили мы, признанные «враги народа». Другой такой сознательной жены не было. Во всяком случае – из тех, кто приезжал на отдельный лагерьный пункт N 2.

Когда ее с позором разоблачили и выгнали из института в Абакане, надо было отдышаться и на несколько месяцев она уехала в Тайшет, к брату, успевшему отбыть свой десятилетний срок. Слушала стихи, которые Владимир Игнатьевич сочинял в лагере, бродила по лесам. Потом приехала в Москву, в Министерство народного образования, рассказала все как есть и получила официальное назначение в школу, где работали сосланные немцы Поволжья. А детей прямо из Абакана посадила в поезд и отправила к бабушке. И вот, после трех лет бабушкиного конформизма, на Володю обрушился поток беспощадных оценок всего, чему его научили верить...

Володя сразу потерял равновесие и, по-моему, никогда его снова не нашел. Двигаясь по прямой, он быстро обогнал Иру и яростно сжигал своими сарказмами не только революционную, но и либеральную традицию. Начав переоценку ценностей раньше других мальчиков, он в университете был передовиком в свержении ложных кумиров и в утверждении истинных ценностей. Ира знала наизусть чуть ли не всю поэзию серебряного века, а память Володи почти не уступала материнской. Подхватывая стихи налету, он стал своего рода арбитром в восстановлении

культурной традиции после советского погрома. Многие поэты, впоследствии известные, испытали его влияние. Я думаю, что в первый год дружбы с Венедиктом Ерофеевым, приехавшим из северного поселка, ведущим был Володя. Но Венечка – случай особый, не подходящий под общие мерки; и в какой-то миг он из ведомого стал ведущим. Ерофеевский стиль жизни повлиял на Володю, когда Венечка вступил на свой путь в Петушки.

Пока Ира жила, в центре оставалась она, и все держалось на этом центре. Если мы ошибались, то вместе. Помню, как в конце 1956 года она говорила Володе, что не надо рисковать по пустякам, – «но если начнется всерьез, я не хочу, чтобы ты оставался в стороне, – не для того я тебя воспитывала». Мы все ждали, «чего-то серьезного», чего-то нравственно необходимого. Мы не подготовили Володю уходить вглубь от долгого, медленного гниения и быть готовым подняться из своей глубины в царство бурь, только когда это действительно понадобится. Между тем, «всерьез» ничего не начиналось. Нарастало только «массивное присутствие абсурда».

Лидерство в освободительном движении захватил сам первый секретарь ЦК, Никита Сергеевич Хрущев. Секретный доклад был прочитан вслух нескольким десяткам миллионов. Факты, от которых волосы вставали дыбом, излагались устами, жевавшими во сне мочалку, путанным канцелярским языком сообщника, дающего показания перед судом Истории и тут же берущего их назад.

Сквозь словесную жвачку ошеломляли факты. Как бы внезапно раскрылись застенки, где неповинным людям ломали кости, выбивая из них признание. Открылась правда о безумных распоряжениях Сталина накануне войны, давших Гитлеру его легкие победы, а нашим людям – невыносимые страдания. И сперва никто не обращал внимания на беспомощность в объяснении фактов. Но когда сила первого впечатления иссякла, стало вызывать насмешки несоответствие между термином «культ

личности» (подходившим скорее к обожанию фанатами своего кумира) и потоками человеческой крови, лившейся десятки лет. Бросилось в глаза, что «ленинские нормы» – внутренне противоречивая идея и ленинский красный террор по своим масштабам вполне сравним со сталинским. Наступило время анекдотов.

«Иосиф Виссарионович, могли бы вы расстрелять сто тысяч человек?

– Могу!

– А миллион?

– И миллион!

– А десять миллионов?

– Да хоть двадцать!

– Врете, батенька! Вот тут-то мы вас и поправим!»

Анекдот спародировал доклад на уровне слов. Но проблема, над которой бился Хрущев, заключалась не столько в масштабах террора, сколько в его направлении. Сталин повернул террор против собственной партии и довел ближайших сотрудников до постоянного страха пыток и казни. После смерти великого гения им захотелось свободы от страха, но только для себя, так чтобы для других страх оставался (понимали, что система, созданная Сталиным, иначе не удержится). И это коротко и ясно высказал опять анекдот: «В каких трех случаях можно сесть голым задом на ежа? Во-первых, если зад чужой; во-вторых, если еж побрит; и в-третьих, если партия велела».

Зад непременно должен быть чужим. Брить ежа нельзя: еще кого-нибудь придется сажать на колючки. И принцип: «если партия велела» – остается неизменным. Но как это выразить языком «Правды»?

Выход дал случай. Проиграв схватку под ковром, Маленков, Каганович и Молотов потеряли свои посты, но не головы. Появился прецедент. Номенклатура сразу поняла его, как госпожа Простакова – указ о вольности дворянства: ее освобождали от всякой уголовной ответственности. В том числе за делишки, которые в буржуазных странах

называются коррупцией. С этих пор Хрущев со своими дурацкими затеями был не нужен; а с планом опубликовать факты, собранные следствием, – как Сталин организовал убийство Кирова, – просто вреден. Мавр сделал свое дело и должен был уйти. После нескольких маневров Суслов спихнул его.

То, что происходило после этого, можно спародировать в трех анекдотах. «Ленин показал, что страной может править одна партия; Сталин – что справится и один человек; Хрущев – что может всякий дурак; Брежнев – что страной вообще можно не управлять; а Андропов – что можно попытаться управлять, но долго не проживешь».

И когда все достаточно прогнило, то есть именно тогда, когда нельзя перелицовывать шубу, расплзется не по шву, а поперек шва, по ткани, – началась перестройка. Володя был мастером сарказма; он великолепно рассказал мне свежий анекдот об это событии: «Что такое понос? Ускоренное и перестроившееся дерьмо». Новый анекдот перекликался со старым: в аду, оказывается, нет ни жаровен, ни чертей. Попросту дерьмо, в котором души погружены по шею, только головы торчат. Плюхается в это озеро новичок, возмущается, машет руками – и со всех сторон слышит злобный шепот: «не колыхай! не колыхай!»

Горбачев всколыхнул Россию, объявил войну рашидовщине – и рашидовщина победила. Новое общество созревает в недрах старого. Были выдраны почти все зародыши нового, остался один, вступивший в симбиоз с самой карающей властью. Номенклатура сама захотела «превратить свои привилегии в частную собственность» (Троцкий). И родился бандитский капитализм.

Анекдот об озере дерьма звучит очень смешно. Но представьте себя в положении человека, на самом деле попавшего в него. Что-то липкое, вонючее – по шею, по подбородок – и навечно. Родился, научился ходить, читать–писать, в какие-то игры играть – и вдруг кончились иллюзии

отрочества и юность осознала себя в дерьме. И без движения, без струйки новых, свежих вод, без надежды отмыться.

У моего поколения было чувство истории как потока, более сильного, чем все демоны дрейфа, гниения, застоя, была память о борьбе с вызовом террора, войны – и вера в свою способность ответить на будущие вызовы. Была иногда вера в бóльшую реальность, чем история. Я мог смотреть на звезды и ждать, пока дух, более могучий, чем человеческие силы, развяжет ветры. А пока – жить свободным умом, жить сердцем, повернувшись спиной к эпохе, повернувшейся к нам задом. У поколений, родившихся на десять, на двадцать лет позже, этого резерва не было.

Острее всего тошнило тех, кого не спасало дыхание природы, кто не мог просто видеть дерево и быть счастливым. Марксистская погруженность в историю стала для них погруженностью в абсурд. Очень коротко об этом сумел написать Николай Глазков:

Слава – шкура барабанная, сможешь – колоти в нее.

А история решит, кто дегенеративнее.

Итог всех войн и революций перекликается с личным опытом современника великих исторических событий:

Я на мир взираю из-под столика.

Век двадцатый – век необычайный.

Чем он интересней для историка,

Тем для современника печальней.

«Москва – Петушки» относится к этим эпиграммам, как роман «Анна Каренина» – к стихотворению Тютчева. Венедикт Ерофеев создал эпос тошноты после революционных бурь.

А началось все с тетради, помнится, не очень толстой общей тетрадки, где излагался план новой жизни, со всеми уставами подвига: что пить, чем закусывать. Володя принес это нам с Ирой, – значит, – не позже середины 1959 года. Мы прочитали: страшно и талантливо (не так страшно

и не так талантливо, как в «Путешествии», но в тетрадки уже был весь Ерофеев). Ира загорелась надеждой удержать мальчика от эксперимента. Она рассчитывала на свой педагогический талант, но Венечка воздвиг стену между собой и нашим домом. Он сознавал странность своего решения, невозможность оправдать его умом и избегал людей, способных отвести от задуманного. Старушку надо было убить, воплотить идею, завладевшую его душой, а потом – рассуждайте, как знаете. Поэт готов вас послушать. Но только после того, как плод, зачатый в его душе, станет художественным фактом.

Я не люблю подражателей Ерофеева. Они не понимают, что он никому не подражал, что он воплощал некий новый дух и если его что-то оправдывает, то именно свобода от всех известных образцов, вера в необходимость воплощения неведомого, невообразимого и нелепого.

Закончив школу с золотым аттестатом, он два года продолжал свое образование, вращался в элиту своего времени – и вдруг вспомнил, откуда родом, и захотел со всем своим умом вернуться к судьбе товарища по школьной парте, не получившего аттестата с отличием и не попавшего в Московский университет. Его вел демон, велевший довести задуманное до конца, проверить на себе, может ли Святой Дух жить в пропойце, валявшемся в канаве. Мы могли его сбить с пути, Ира могла его сбить с пути (я наверняка бы не смог), и он не шел к нам.

Могло ли все это случиться до краха сталинской системы? Ерофеевский быт уже существовал. Я слышал о семье бывших з/к, живших по соседству с зоной. Они обедали поллитрой водки, в которую крошили хлеб, и хлебали тюрю ложкой. Что-то подобное могло быть и в поселке, где жил Венечка. Но мальчики и девочки, учившиеся в школе, презирали взрослых. Такие случаи есть и сейчас, при хорошем учителе, в зоне запойного пьянства и свального греха. Что выйдет сегодня из ребят, вырвавших ноги из общей тины, не знаю. Учительница, писавшая нам из деревни, думает, что у них трудная судьба. Но в сталинские годы детям

внушали веру в сияющие вершины, на которых высохнут и отпадут старые язвы. Да и в самом народе жила поговорка: «с этими людьми коммунизма не построишь». Всегда с этими конкретными людьми, плохими людьми, а не с людьми вообще. Вера в царствие Божие, выстроенное без Бога, еще продолжала тлеть, как торфяное болото. Народ еще не весь, не до конца поверил в собственное падение, в собственный грех, из которого одна дорога – к покаянию, к поискам потерянной глубины.

Другое дело – после XX съезда, когда начался процесс, захвативший массы уже в наши дни, когда изменились глаза, которыми студент, проучившийся два года в Москве, принятый в молодую элиту, взглянул на родной поселок. Венечку потрясло, как изменились его сверстники, как, оставшись без школы, они погрузились в общую грязь. Невыносимо было видеть, чем стала девочка, на которую он когда-то заглядывался. Школьников держала школа, а школу – вера в сияющие вершины, к которым вел страну великий Сталин. С падением Сталина произошло что-то вроде свержения самодержавия. Образ страны потерял своего помазанника, исчезли вещие глаза, видевшие далекую правду. Мерзость стала бессрочной, почти вечной стихией жизни, болотом, в котором кусты нашептывали старую каторжную поговорку, ставшую народной правдой: «умри сегодня – я умру завтра».

Может ли из этой, реальной почвы, из нынешних молодых людей, спивающихся к 25-30 годам, вырасти что-то доброе? Это надо было проверить на себе: погрузиться в тину и убедиться на опыте, сохранится ли душа, продолжится ли внутренняя духовная жизнь, ярко вспыхнувшая в университетские годы, когда живешь так, как живут самые последние, потерявшие всякую надежду выбраться наверх?

Не знаю, что было раньше: запой, из которого трудно было выбраться, или решение жить, как это описывается в «Путешествии». Мы гадали и ни к чему не могли прийти. В конце концов, все равно, что раньше, курица или яйцо. В начале был дух времени, действовавший и на

ум, и на волю; был сократовский или псевдосократовский демон, велевший пить без меры, не жалеть себя, не щадить своей жизни, не просто пить, а убивать себя водкой. Венечка стал вызовом всякой личной мере в этой безмерной и безрассудной стране. И этот вызов все больше захватывал Володю. Только в реанимации он понял, что медленное саморазрушение – тот же грех, что и быстрое самоубийство, и круто изменил свою жизнь – я думаю, не только ради спасения тела. Что-то сдвинулось в душе, отступило временное, проступило вечное. Но это все случилось слишком поздно.

Вернемся теперь назад, к 1959 году, к смерти Иры, к нашему частному, не затронувшему других, светопреставлению. Мне тогда хотелось умереть на ее могиле. Удерживало то, что за мной ушел бы Володя. Много лет спустя я узнал, что его удерживало то же самое, страх и ответственность за меня. Мы были тогда в одной связке и держались друг за друга. Каждый по-своему вспоминал потерянное и сохранял его в любви друг к другу и к Лёдику.

В прошлом, которое я вспоминал, Володе было 17 лет, Лёдику 15. Но Лёдик долго еще не хотел выходить из своего детства и детских прав на маму, а Володя с юношеским увлечением входил в роль друга и товарища Иры, по-взрослому признававший ее права устраивать свою личную жизнь (как и она – его права). С ним у меня быстро установились отношения двух рыцарей одной дамы – без всякой ревности друг к другу. Ребенком Володя вспоминал себя только тогда, когда заболел гриппом. Тогда он приезжал на Трубную, в комнатушку, доставшуюся Лёдику, вызывал по телефону мать, наделял ее и Лёдика своим гриппом и через день возвращался в общежитие. Болел он с температурой, стремительно подымавшейся выше 39° и так же быстро падавшей. Ира и Лёдик вяло долеживали с неделю.

Володе было 17-18-19... Время юношеских влюбленностей, которые он переживал с мрачной торжественностью. После каждой размолвки его веселость надолго исчезала. Ире это напоминало приступы мрачности у

Сергея, отца Володи, и это ее коробило. Однажды она попросила меня написать маленькое эссе о счастье, о том, что совсем не стыдно быть счастливым и делиться с людьми своей улыбкой, а не отравлять их жизнь угрюмым видом. Я этот заказ выполнил. Не думаю, впрочем, что он много прибавил к способности Иры создавать атмосферу счастья и топить в чувстве счастья тревоги детей, их друзей и наших общих друзей вместе со своими собственными тревогами.

Ира как-то особенно любила кошек. Какого-то злого мальчика, мучившего и вешавшего кошек, она никак не могла забыть и вспоминала каждый раз, словно палача Большого Трора. Она была права: садизм начинается с малого. Но было в ее любви к кошкам что-то глубоко личное. Кот, ходивший сам по себе (по-английски нельзя понять, кого именно имел в виду Киплинг; возможно, это был кот) стал любимым героем ее детства; она посвятила ему школьное сочинение «Ваш любимый герой». В ней было что-то родственное этому персонажу. Как кошки, она могла падать с любой высоты – и не разбивалась насмерть. Гармония с космосом восстанавливалась, как только судьба оставляла в покое. Хаос в государстве, в домашнем быту и в идеях не угнетали ее, не вызывали невроза. «Я эклектик», – спокойно говорила она, когда мы мучились в поисках системы. Это была способность видеть и чувствовать целое жизни по ту сторону всех логических противоречий. Сыновья и друзья сыновей не могли объяснить секрет ее обаяния, но они его просто чувствовали. Трудно сказать, насколько и как долго это чувство гармонии сквозь историю могло уравновешивать чувство абсурда, искушавшее Володю, но как-то оно сдерживало срывы в отчаянье, дремавшие в его характере.

Смерть Иры обрушила краеугольный камень нашей маленькой, но дружной семьи, разбросанной между 1-м Зачатьевским переулком, Трубной и Студенческим общежитием на Ленинских горах. Мы по несколько раз в неделю собирались вокруг Иры в моей конуре – иногда втроем, иногда вчетвером, иногда вместе с друзьями Володи и Лёдика и

взрослыми друзьями. Если сидели втроем и третьим был Володя, то непременно читались стихи или шел разговор о стихах или играли в состязания памяти на стихи (я в этом случае был слушателем; состязались Ира с Володей). Если приходил Леонид Ефимович Пинский или Юра Лескис, то вскипали споры, и слушателем становился Володя. Яростное красноречие вызывало у него восторг; впрочем, случалось и так, что он молча замечал противоречия в аргументации и задним числом обсуждал их вместе со мной и с Ирой, когда гости уходили.

Это необычное гнездо свободы оказалось, по-видимому, самой лучшей педагогикой, чтобы удерживать Володю, ценившего свою взрослую независимость, под домашним зонтиком. Никакого барьера между отцами и детьми. В нашем гнезде сходились три поколения и споры никогда не были разрывными.

Мне кажется, что память об этом круге, собиравшемся вокруг Иры, отпечаталась в сознании Володи на всю его жизнь. Ему нужно было какое-то подобие, и он находил его в кругу друзей – почитателей Анны Ахматовой и Надежды Мандельштам. В центре непременно должна была быть великая женщина, оставшаяся несломленной среди общей ломки. Она вставала на место Иры, и рыцарски служа ей, он как бы возвращал утраченное время. Я помню, как он рассказывал мне, что принят у Ахматовой. Так говорят об обретении веры, о найденном месте в жизни.

Другой опорой, менее зримой, но не менее важной, стал католицизм. О нем позже. Он пришел не сразу. Первые полтора года после смерти Иры мы просто держались друг за друга – Володя, Лёдик и я. Потом новый мой брак все осложнил. Лёдик решительно не понимал, что я нашел в Зине, и в одном из писем прямо высказал свое отношение к «Мышкиным и Миркиным». Потом он почувствовал Зину (кажется, после одного разговора, когда она раскрылась и захватила его друзей) и любил ее с искренней горячностью при встречах, но без твердого желания часто

видеться; кажется, он понимал, что мир, в котором живет Зина, слишком труден для него, слишком много потребовал бы от него.

С Володей все было сложнее. Трудно достижимые цели его не пугали, но он хотел сам определять эти цели, сам выбрать авторитет, достойный подчинения. И он с радостью готов был чему-то подчиниться, но непременно авторитету незыблемому, уже признанному историей, укорененному в истории, а не только в чувстве собственной правоты.

Мы по-разному выходили из духовного кризиса, вызванного смертью Иры. Для меня выходом было стихотворение Зины «Бог кричал», о котором я уже много писал, и я сразу поверил в духовный опыт автора, написавшей это. Для Володи опыт, в который никто, кроме меня, не верит, не был достаточным авторитетом, ему казалось, что я просто влюбился. Образ Бога без догмы, без схоластики, то увлекал, то отталкивал. Были периоды страстного сближения и стремительного отхода. Отношения складывались неровно, нервно, многое оставалось скрыто, недоговорено.

Недоговоренность была постоянным свойством Володи. И когда что-то вдруг договаривалось до конца, он чувствовал себя раздетым и надолго уходил в свою скорлупу. Особенно если раскрылся он сам. Тогда он прятался от стыда, от неловкости и долго не появлялся. Однажды Зина прочла вслух свой рассказ «Где была мама», прямо обращенный к нему. Володя заплакал, поцеловал ей руку – а потом две недели не приходил. Хотя тогда еще приходил на Зачатьевский, по привычке, раза два в неделю (это было в самом начале 60-х годов).

Другой случай, – четверть века спустя, после периодов почти официального родства с редкими встречами, – тоже из зининых воспоминаний. Вдруг звонок по телефону, после эссе «Святая святых», вошедшего в первое крошечное издание ее стихов. Сразу поразил володин тон, он так с ней не говорил, она даже засомневалась, он ли это. Точно она помнит немного: «Это такой разговор с Богом» – и дальше превосходные степени: чудо, драгоценность. В наше время! И в таком жутком издании

(там полно было опечаток). Это тоже черта времени – такое издание. «Я бы не смог все это сказать, если бы был совершенно трезв, и не повторю этого, но то, что я говорю – совершенная правда».

Эта исповедь в духе Достоевского действительно ни разу не повторялась и не вспоминалась. Как будто ее не было.

Как-то Володя мимоходом бросил, желая похвалить Таню: «она со мной ни разу не поссорилась, а это надо уметь». Мы оба с Зиной чего-то не сумели. А тут еще нашлась разлучница, Лика Ковалева, дружившая и с Ирой, и с первым ее мужем. Она решила помирить моих пасынков с их отцом, а для этого – поссорить ребят со мной.

Я простодушно написал Лике, что «второй раз в жизни мне крупно повезло». Володе бы я в таком тоне не писал. Была в письме и какая-то неосторожная фраза, о незрелости мальчика, а это в двадцатилетнем возрасте – кровная обида. Лика использовала все так, как ей было нужно. Володя вспыхнул. Ребята съездили к отцу, он им не понравился, других попыток восстановить родство не было. Но в наших отношениях возникла трещина. А потом нашлись другие причины, расширившие ее.

Сперва мы с Зиной казались слишком успокоенными в своей духовной жизни, постоянно находившей новые силы в природе, в музыке, в иконах Третьяковской галереи, и Володя приходил к нам с вопросами Иова. Потом он как-то появился и сказал, что обрел Бога, «но не вашего». Последние слова я точно помню и помню интонацию, с которой они были сказаны. После II Ватиканского собора католики называют эту интонацию «триумфализмом».

Дух диалога еще не захватил Ватикан, еще не был мыслим семинар имени Джона Мейна, на котором бенедиктинцы пригласили Далай Ламу комментировать Евангелие. Истина казалась сформулированной раз и навсегда, в неизменных словах, и Володя решительно отвергал Будду, умершего, «обожравшись тухлым мясом». Это было сказано при мне. Я промолчал. Мы, пожалуй, оба избегали серьезных богословских споров. Я

– чтобы избежать ссоры. Володя, может быть, и потому, чтобы не подвергать опасности свою религиозную убежденность, не успевшую стать спокойной верой. Но иногда, когда разговор заходил о нас, с его уст срывались нелестные оценки: мы «превратили свою квартиру в церковь» (видимо поэтому не следовало часто посещать чужой храм), наш Бог «похож на кисель», и «если я верю в воскресение, то в воскресение, а не что-то вроде». Если отвлечься от полемического тона, то кое-что здесь было схвачено верно. Я действительно чувствую Бога скорее в третьей ипостаси, – «Бог есть дух», – а дух еще более текуч, чем кисель, и никакие соборы не могут ограничить его. Развитие этой мысли вело к Мейстеру Экхарту, посмертно осужденному за ересь, и требовало осторожности. Хрупкая вера нуждается в защите. Каждая личная встреча несла в себе опасность. Но книги наши Володя любил и, кажется, все прочел. Напечатанное слово легко входило в запасы памяти.

Между тем, я вовсе не собирался осуждать володин выбор. Чем меньше в человеке внутреннего равновесия, чем больше он чувствует свою заброшенность среди ловушек времени, тем больше ему нужна логически продуманная система, с символами и понятиями, одевшими нагую вечность, и вопрос только в том, какую систему выбрать. Выбрав католицизм, Володя мог укорениться в прочной традиции культуры, противостоящей русской, мировой и его собственной расшатанности. Я ничего против этого не имел. Меня удручала только агрессивность.

В последние годы Володя вспоминал эту агрессивность с улыбкой. Реанимация стала для него толчком, сразу подытожившим медленно накапливавшиеся сдвиги. Встреча со смертью дала опыт, не хватавший всему его поколению, дала второе дыхание, пришедшее из глубины. Это дыхание сразу ослабило его зависимость от внешних опор. Отпала и зависимость от алкоголя, и страх выпустить из рук духовные перила. Сразу появилась терпимость, которой ему очень не хватало раньше. С этой

точки стоило бы начать многое заново и решить вопросы, которые год за годом оставались нерешенными.

Один из этих вопросов – творческий. Как сочетать духовное родство с Ерофеевым и служение царственному слову? Невольно вспоминаю строки Ахматовой:

Крушится мрамор и ржавеет сталь.
Тускнеет золото. Для смерти все готово.
Всего прекрасней на земле печаль
И долговечней царственное слово.

Не укладывается это в моем уме рядом с ненормативной лексикой ерофеевских «Шагов командора». Можно попеременно читать Ахматову и Ерофеева, но художественное целое из них очень трудно выстроить. Разве только как поток, в котором всплывает то одна, то другая цитата, то один, то другой обломок, поток, в целом рушащийся в бездну. И это крушение цельности принимать за образ целого. Как в обратном ходе эволюции, нарисованном в стихотворении «Ламарк»:

Зренья нет. Ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья.
Ты напрасно Моцарта любил.
Наступает глухота паучья.
Здесь провал сильнее наших сил...

У Мандельштама ритм образов несет в себе и надежду спасения, обетование небесного Иерусалима над рушащимся земным.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет – паучок,
Разбирая на ребра их, сызнава
Собирает в единый пучок...

Это апокалиптическое видение мира лучше всего удавалось в музыке. Творчество Бродского тяготеет скорее к карнавалу, пародирующему светопреставление, – карнавалу все менее и менее веселому, с воплем отчаянья, прорывающемуся в последних стихотворениях. У Володи, с детства воспитанного на «полых людях, трухою набитых людях» Т.С.Элиота, не хватало легкомыслия для карнавала и глубинного опыта для апокалипсиса. Опыт постепенно накапливался – но болезнь развивалась быстрее.

Свифт оказался тем, чем для меня Достоевский: средством выразить самого себя в своем втором я. Хорошо и свободно писалось об одиночестве Свифта среди йеху (среди шариковых). И очень много своего Володя вложил в разбор классически ясного описания людской мерзости. С Россией он в этом стиле не мог справиться, начинал нервничать, выходить из себя, и его попытки анализа русских проблем искажены гневом. От этого – проекты физически сократить Россию, сделать ее поменьше. Вспоминается проект Мити Карамазова: «Широк, слишком широк человек. Я бы сузил».

Ира была западницей по своим вкусам. Но она просто говорила: вот это мое, а это не мое. Она не боролась с чужим. Володе надо было сбросить, опрокинуть чужое в русской традиции. С Толстым и Достоевским у него была двойная несовместимость: идеологическая и стилистическая. Самый слог их его раздражал, в самой фразе он чувствовал разрушение всякой меры, падение в безмерность, которое и так его искушало. Может быть, не случайно единственным человеком в семье Муравьевых, для которого Достоевский был родным, оказался я, с моими нерусскими корнями и редким в России иммунитетом к переходу через всякую черту. Достоевского вообще больше читают за рубежом, чем в России. Для соотечественников, спорящих до пены на губах, до разрыва дружбы, он часто противоположен. Лучшим временем и местом, возможным на земле, был для Володи европейский XVII век, вместе с

несколькими людьми, доживавшими XVII век в XVIII-м, как Бах. Среди них он видел и Свифта. В последние годы, когда Володе чаще хотелось меня видеть (иногда мне казалось – часто, как только можно), мы говорили о том, что он любил, в чем был яростен и талантлив, – о нераздельности барокко и классицизма, о гениальной интуиции Мандельштама, чувствовавшего эту нераздельность разума и экстаза в готике и барокко. Сперва «души готической рассудочная пропасть», а потом, после вызова Возрождения – снова:

«и ты ликуешь, как Исайя, о рассудительнейший Бах!»

В этих стихах была эстетическая (и не только эстетическая!) программа, близкая Володе. Но ведь и Мандельштам только урывками вспоминал ее в хаосе времени и все чаще пародировал самого себя:

Я скажу тебе с последней прямою:

Все лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой!

Там где эллинам сияла красота,

Мне из черных дыр зияет срамота...

Облечь мандельштамову «тоску по мировой (т.е. европейской) культуре» в русское слово и развить его в современной словесности было задачей, выполнимой разве только с помощью Святого Духа. Человеческие силы она превосходила. Нужна была, по крайней мере, еще одна жизнь или несколько жизней. Долгой старости, открытой созерцанию, судьба Володе не дала. Когда пришла духовная зрелость, подорваны были физические силы. Все замыслы унесла с собой смерть. Можно только гадать, что бы он мог сделать сверх того, что сделал.